

Антон Чехов

Калхас



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Калхас

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176221

Антон Павлович Чехов

Калхас

Комик Василий Васильич Светловидов, плотный, крепкий старик 58 лет, проснулся и с удивлением поглядел вокруг себя. Перед ним, по обе стороны небольшого зеркала, догорали две стеариновые свечи. Неподвижные, ленивые огни тускло освещали небольшую комнатку с крашеными деревянными стенами, полную табачного дыма и сумерек. Кругом были видны следы недавней встречи Вакха с Мельпоменой, встречи тайной, но бурной и безобразной, как порок. На стульях и на полу валялись сюртуки, брюки, газетные листы, пальто с пестрой подкладкой, цилиндр. На столе царил странный, хаотический беспорядок: тут теснились и мешались пустые бутылки, стаканы, три венка, позолоченный портсигар, подстаканник, выигрышный билет 2-го займа с подмоченным углом, футляр с золотой булавкой. Весь этот сброд был щедро посыпан окурками, пеплом, мелкими клочками разорванного письма. Сам Светловидов сидел в кресле и был в костюме Калхаса.

– Матушки мои, я в уборной! – проговорил комик, осматриваясь. – Вот так фунт! Когда же это я успел заснуть?

Он прислушался. Тишина была гробовая. Портсигар и выигрышный билет живо напомнили ему, что сегодня его бенефис, что он имел успех, что в каждом антракте он со свои-

ми почитателями, бравшими приступом уборную, много пил коньяку и красного вина.

– Когда же это я уснул? – повторил он. – Ах, старый хрен, старый хрен! Старая ты собака! Так, значит, налимонился, что сидя уснул! Хвалю!

И комику стало весело. Он разразился пьяным, кашляющим смехом, взял одну свечку и вышел из уборной. Сцена была темна и пуста. Из глубины ее, с боков и из зрительной залы дул легкий, но ощутимый ветер. Ветерки, как духи, свободно гуляли по сцене, толкались друг с другом, кружились и играли с пламенем свечки. Огонь трепетал, изгибался во все стороны и бросал слабый свет то на ряд дверей, ведущих в уборные, то на красную кулису, около которой стояло ведро, то на большую раму, валявшуюся среди сцены.

– Егорка! – крикнул комик. – Егорка, чёрт! Петрушка! Заснули, черти, в рот вам дышло! Егорка!

– А... а... а! – ответило эхо.

Комик вспомнил, что Егорка и Петрушка, по случаю бенефиса, получили от него на водку по три целковых. После такой подачи едва ли они остались ночевать в театре.

Комик крякнул, сел на табурет и поставил свечу на пол. Голова его была тяжела и пьяна, во всем теле еще только начала «перегорать» выпитая им масса пива, вина и коньяку, а от сна в сидячем положении он ослабел и раскис.

– Во рту эскадрон ночует... – проворчал он, сплевывая. – Эх, не надо бы, старый дуралей, пить! Не надо бы! И пояс-

ницу ломит, и башка трещит, и знобит всего... Старость.

Он поглядел вперед себя... Еле-еле были видны только суфлерская будка, литерные ложи да пюпитры из оркестра, вся же зрительная зала представлялась черной, бездонной ямой, зияющей пастью, из которой глядела холодная, суровая тьма... Обыкновенно скромная и уютная, теперь, ночью, казалась она безгранично глубокой, пустынной, как могила, и бездушной... Комик поглядел на тьму, потом на свечку и продолжал ворчать;

– Да, старость... Как ни финти, как ни храбрись и ни лмай дурака, а уж 58 лет – тю-тю! Жизнь-то уж – мое почтение! Н-да-с, Васинька... Однако служил я на сцене 35 лет, а театр вижу ночью, кажется, только в первый раз... Курьезная материя, ей-богу... Да, в первый раз! Жутко, чёрт возьми... Егорка! – крикнул он, поднимаясь. – Егорка!

– А... а... а? – ответило эхо.

И одновременно с эхо где-то далеко, словно в самой глубине зияющей пасти, ударили к заутрене. Калхас перекрестился.

– Петрушка! – крикнул он. – Где вы, черти? Господи, что ж это я нечистого поминаю? Брось ты эти слова, брось ты пить, ведь уж стар, околевать пора! В 58 лет люди к заутрене ходят, к смерти готовятся, а ты... о господи!

– Господи помилуй, как жутко! – проворчал он. – Ведь эдак, ежели всю ночь просидеть здесь, так со страха помереть можно. Вот где самое настоящее место духов вызывать!

При слове «духов» ему стало еще страшнее... Гуляющие ветерки и мельканье световых пятен возбуждали и подзадоривали воображение до крайней степени... Комик как-то съежился, осунулся и, нагибаясь за свечкой, в последний раз с детским страхом покосился на темную яму. Лицо его, обезображенное гримом, было тупо и почти бессмысленно. Не дотянувшись до свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд на потемки. Полминуты простоял он молча, потом, охваченный необычайным ужасом, схватил себя за голову и затопал ногами...

– Кто ты? – крикнул он резким, не своим голосом. – Кто ты?

В одной из литературных лож стояла белая человеческая фигура. Когда свет падал в ее сторону, то можно было различить руки, голову и даже белую бороду.

– Кто ты? – повторил отчаянным голосом комик. Белая фигура перевесила одну ногу через барьер ложи и прыгнула в оркестр, потом бесшумно, как тень, направилась к рампе.

– Это я-с! – проговорила она, полезая на сцену.

– Кто? – крикнул Калхас, пятясь назад.

– Я... я-с, Никита Иваныч... суфлер-с. Не извольте беспокоиться.

Комик, дрожащий и обезумевший от страха, опустился в изнеможении на табурет и поник головою.

– Это я-с! – говорил, подходя к нему, высокий жилистый человек, лысый, с седой бородой, в одном нижнем белье и

босой. – Это я-с! Суфлер-с.

– Боже мой... – выговорил комик, проводя ладонью по лбу и тяжело дыша. – Это ты, Никитушка? За... зачем ты здесь?

– Я здесь ночую-с в литерной ложе. Больше негде ночевать... Только вы не говорите Алексею Фомичу-с.

– Ты, Никитушка... – бормотал обессиленный Калхас, протягивая к нему дрожащую руку. – Боже мой, боже мой!.. Вызывали шестнадцать раз, поднесли три венка и много вещей... все в восторге были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой. Я старик, Никитушка. Мне 58 лет. Болен! Томится слабый дух мой.

Калхас потянулся к суфлеру и, весь дрожа, припал к его руке.

– Не уходи, Никитушка... – бормотал он, как в бреду. – Стар, немощен, помирать надо... Страшно!

– Вам, Василий Васильич, домой пора-с! – сказал нежно Никитушка.

– Не пойду. Нет у меня дома! Нет, нет!

– Господи Иисусе! Уж и забыли, где живете?

– Не хочу туда, не хочу... – бормотал комик в каком-то испуге. – Там я один... никого у меня нет, Никитушка, ни родных, ни старухи, ни деток... Один, как ветер в поле... Помру, и некому будет помянуть.

Дрожь от комика сообщилась и Никитушке... Пьяный, возбужденный старик трепал его руку, судорожно сжимал ее и пачкал смесью грима со слезами. Никитушка ежился от

холода и пожимал плечами.

– Страшно мне одному... – бормотал Калхас. – Некому меня приласкать, утешить, пьяного в постель положить. Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит, Никитушка!

– Публика вас любит, Василий Васильич!

– Публика ушла и спит... Нет, никому я не нужен, никто меня не любит... Ни жены у меня, ни детей.

– Эва, о чем горюете!

– Ведь я человек, живой... Я дворянин, Никитушка, хорошего рода... Пока в эту яму не попал, на военной служил, в артиллерии. Молодец какой был, красавец, горячий, смелый... Потом актер какой я был, боже мой, боже мой! И куда всё это девалось, где оно, то время?

Держась за руку суфлера, комик приподнялся и замигал глазами так, как будто из потемок попал в сильно освещенную комнату. По щекам его, оставляя полосатые следы на гриме, текли крупные слезы...

– Время какое было! – продолжал он бредить. – Поглядел нынче на эту яму и всё вспомнил... всё! Яма-то эта съела у меня 35 лет жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу на нее сейчас и вижу всё до последней черточки, как твое лицо!.. Помню, когда был молодым актером, когда только что начинал в самый пыл входить, полюбила меня одна за мою игру... Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, умна, пламенна, как летняя заря! Я верил, что не будь на небе

солнца, то на земле было бы всё-таки светло, так как перед красотой ее не могла бы устоять никакая ночь!

Калхас говорил с жаром, потрясая головой и рукой... Перед ним в одном нижнем белье стоял босой Никитушка и слушал. Обоих окутывали потемки, слабо разгоняемые бесильной свечкой. Это была странная, необычайная сцена, подобной которой не знал ни один театр в свете, и зрителем была только бездушная, черная яма...

– Она меня любила, – продолжал Калхас, задыхаясь. – И что же? Помню, стою я перед нею, как сейчас перед тобой... Прекрасна была в этот раз, как никогда, глядела на меня так, что не забыть мне этих глаз в самой могиле! Ласка, бархат, блеск молодости, глубина! Упоенный, счастливый, падаю перед ней на колени, прошу счастья...

Комик перевел дух и упавшим голосом продолжал:

– А она говорит: оставьте сцену! Понимаешь? Она могла любить актера, но быть его женою – никогда! Помню, в тот день играл я... Роль была подлая, шутовская... Я играл, а у самого в душе кошки и змеи... Сцены не бросил, нет, но тогда уже глаза открылись!.. Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет, что всё бред и обман. Понял я публику! С тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни восторгам! Да, брат! Он аплодирует мне, покупает за целковый мою фотографию, но, тем не менее, я чужд для него, я для него грязь, почти кокотка! Он тщеславия ради ищет знакомства со мной, но не унижит

себя до того, чтоб отдать мне в жены свою сестру, дочь! Не верю я ему, ненавижу, и он мне чужд!

– Домой вам пора-с, – робко проговорил суфлер.

– Понимаю я их отлично! – крикнул Калхас, грозя черной яме кулаками. – Тогда же еще понял!.. Еще молодым прозрел и увидел истину... И дорого мне это прозрение стоило, Никитушка. Стал я после той истории... после той девицы-то стал я без толку шататься, жить зря, не глядя вперед... Разыгрывал шутов, зубоскалил, развращал умы... опошил и изломал свой язык, потерял образ и подобие... Эххх! Сожрала меня эта яма! Не чувствовал раньше, но сегодня... когда проснулся, поглядел назад, а за мной – 58 лет! Только сейчас увидел старость! Спета песня!

Калхас всё еще дрожал и задыхался... Когда, немного погодя, Никитушка увел его в уборную и стал раздевать, он совсем опустился и раскис, но не перестал бормотать и плакать.